

# Биргит Хоgefельд «К истории RAF»

## Вступление Геца Айххоффа

*Перевод с немецкого ЯНА КАНДРОРА*

15 ноября 1994 г. председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда земли Гессен во Франкфурте-на-Майне объявил о начале судебного разбирательства по делу члена RAF Биргит Хоgefельд. Биргит Хоgefельд — единственная обвиняемая на этом процессе. На скамье подсудимых она была бы не одна, если бы в воскресенье, 27 июня 1993 г., на вокзале Бад-Кляйнена, небольшого железнодорожного узла в Мекленбурге, произошло то, на что так рассчитывали сотрудники БКА и федеральной прокуратуры — арест не только Биргит Хоgefельд, но и Вольфганга Грамса. Власти долго и тщательно планировали эту операцию, надеясь, что после долгих лет безуспешных розысков им наконец удастся продемонстрировать немецкой общественности захват так называемого командования RAF.

Но все получилось не так: для всех участников этой операции дело обернулось катастрофой.

Широкая публика не должна была знать, что вместе с Грамсом и Хоgefельд — подозреваемыми террористами — на бад-кляйненском вокзале был еще один человек; на тот случай, если сведения об этом все же просочились бы в прессу, предполагалось объявить, что этому третьему удалось скрыться. Во время операции Вольфганг Грамс погиб. Как потом выяснилось, произошло недоразумение: когда «тройка» спустилась в подземный переход, сотрудники ГСГ-9 набросились не на Грамса и Хоgefельд, а на Хоgefельд и «третьего».

Грамс попытался скрыться — он рванулся к ближайшему выходу из туннеля, но и там стояли сотрудники ГСГ-9. На платформе началась беспорядочная стрельба. В результате Вольфганг Грамс и один из сотрудников ГСГ-9 были убиты. Сотрудник погиб во время перестрелки, но выстрел, убивший Грамса, прозвучал через несколько секунд после того, как пальба стихла. Экспертиза показала, что этот выстрел был сделан в упор из пистолета Грамса. Прохожие видели, что, когда стрельба прекратилась, двое из ГСГ-9 склонились над лежащим без движения раненым Грамсом.

Самоубийство или убийство? Вряд ли это когда-нибудь выяснится. Оба варианта не исключены: RAF всегда проповедовала бескомпромиссную борьбу. Пока на платформе шла перестрелка, стоявшая жизни Грамсу и сотруднику ГСГ-9, Биргит Хоgefельд уже лежала в подземном переходе, прижатая к асфальту отработанным полицейским приемом. В двух шагах от нее в такой же позе лежал «третий». Впервые спецслужбы сумели внедрить своего агента в самую сердцевину RAF, в ближайшее окружение Биргит Хоgefельд и Вольфганга Грамса. Но, с другой стороны, для государственных органов эта неудачная операция оказалась чреватой весьма неприятными последствиями: федеральному министру внутренних дел пришлось уйти в отставку, министру юстиции едва удалось сохранить свой пост (под давлением общественного мнения был уволен генеральный прокурор); руководство БКА потрясли кадровые перемены.

В Бад-Кляйнене сорокалетняя Биргит Хоgefельд потеряла близкого друга и соратника. В своей речи перед судебной коллегией она описывает тот путь, на который они оба вступили еще в молодые годы в Висбадене, — путь «освободительной борьбы», решительно отстаиваемый ею, убежденной сторонницей политики RAF. В личной честности Биргит Хоgefельд сомневаться не приходится: она не отрицает ни одной из своих принципиальных ошибок, открыто говорит о своих сомнениях, но ни в чем и не раскаивается — чтобы не дать повода для торжества полицейским властям. Биргит Хоgefельд не тот человек, который способен отказаться от своих убеждений перед какой бы то ни было государственной властью.

Осенью 1984 г. фотографии Биргит Хоgefельд и Вольфганга Грамса, подозреваемых в терроризме, появились на вывешенных повсюду розыскных плакатах. Для их бывших висбаденских приятелей это было как-то необычно, хотя ничего удивительного здесь, в сущности, не было. В речи на суде Биргит Хоgefельд говорит о своем постепенном отдалении от прежнего окружения. В самом деле, это стало заметно уже в 1976 г. А начиная с 1977 г. — года «немецкой осени» — органам безопасности удалось вбить глубокий клин в отношения между людьми, так или иначе связанными с леворадикальными кругами. Потому что каждый, кто давал хоть малейший повод быть заподозренным в симпатиях к RAF, мог отныне на своей шкуре ощутить все прелести общения с полицией. Меры были приняты властями после наглого похищения членами RAF одного из самых высокопоставленных чиновников — президента Германского союза работодателей Ханса-Мартина Шляйера. В обмен на Шляйера RAF потребовала выпустить из тюрем нескольких своих членов. Пока велись переговоры (они затянулись на несколько недель), группой палестинцев был угнан самолет «Люфтганзы», и RAF попыталась использовать это для усиления своей позиции.

Угнанный в Могадисо самолет взяли штурмом. Буквально на следующий день из штутгартской тюрьмы Штамхайм пришло известие о том, что некоторые из отбывавших там наказание членов RAF, в числе которых

были и считавшиеся ее основателями Гудрун Энслин и Андреас Баадер, найдены мертвыми в своих камерах. Самым невероятным было то, что все они будто бы покончили жизнь самоубийством (смерть наступила от огнестрельных ран): ведь они содержались под строжайшей охраной и были абсолютно изолированы друг от друга.

Версия о самоубийстве вызывает сомнения до сих пор, и многие подозревают, что это был случай санкционированного властями убийства заключенных. Похитители Шляйера тотчас дали о себе знать: они заявили, что выполнили свою угрозу, и сообщили, где спрятан труп убитого ими президента Союза работодателей. Тогда и наступила «немецкая осень». Власти развернули небывалую по своим масштабам кампанию против тех, кого считали причастными к легальному окружению РАФ. Полицейские преследования вызвали у большинства «симпатизирующих» чувство безнадежности и бессилия — особенно острое у тех, кто раньше ни разу не подвергался ни обыскам, ни постоянным проверкам и занимался лишь тем, что регулярно посещал заключенных в тюрьмах и ходил на процессы членов РАФ. К чувству бессилия примешивались и глубокие сомнения: имеет ли вообще какой-нибудь смысл такая форма борьбы с государством, которую проповедовала РАФ? В этом плане «немецкая осень» стала победой органов безопасности. Они опирались на широко распространенное в обществе мнение, что надо, дескать, «осушить болото симпатизирующих», чтобы вплотную подобраться к тем, кто прямо поддерживал РАФ: полицейские преследования были направлены в основном против «непослушных» граждан.

С этого времени Биргит Хогефельд и Вольфганг Грамс находились под постоянным наблюдением властей. Они жили, как говорит Биргит Хогефельд, «в сопротивлении». Но несмотря на все события последующих лет, вплоть до Бад-Кляйнена, большинство старых висбаденских приятелей Биргит Хогефельд и Вольфганга Грамса сохранили к ним уважение и симпатию. Участники похищения Шляйера, включая главного организатора, Кристиана Клара, еще несколько лет продолжали жить в подполье, но не предпринимали никаких новых акций, по-видимому, не имея для этого возможностей или желаний. Среди них были и те, кого теперь называют «отступниками из ГДР». Их судьба поразительна: продолжая оставаться на нелегальном положении, они уже утратили свою былую решимость (должно быть, определенную роль в этом сыграла и «немецкая осень»), а потом перебрались в ГДР, где находились под крылышком МФС, снабдившего их соответствующими легендами и позволившего им начать новую добропорядочную жизнь. Впрочем, все это стало известно только в ходе объединения двух германских государств, когда люди уже почти потеряли способность чему-нибудь удивляться.

Многие нелегалы РАФ, в том числе и Кристиан Клар, были арестованы в конце 70-х — начале 80-х гг. Сегодня все, по крайней мере, знают, почему так долго не удавалось выйти на след остальных. Таким образом, можно сказать — хотя широкая общественность об этом не догадывалась, — что в начале 80-х прежняя РАФ прекратила свое существование, поскольку не была в состоянии продолжать вооруженные акции. Если бы в то время кто-нибудь из старых знакомых Биргит Хогефельд столкнулся с ней на висбаденской улице, никакого откровенного разговора не получилось бы. Потому что любой вопрос, выходящий за рамки житейского «как поживаешь?», вызвал бы у нее подозрение: она не могла доверять человеку, который знает ее, но не борется вместе с ней. Впрочем, случайные встречи со старыми знакомыми и не входили в планы «Фронта», с которым тогда была связана жизнь Биргит Хогефельд (об этом она много говорит в своей речи). РАФ всегда четко формулировала свои взгляды — публикуемая речь Биргит Хогефельд не оставляет в этом сомнений. Полный текст речи, произнесенной в зале суда 21 июля 1995 г. (в немецкой прессе о ней появилось лишь краткое сообщение), был любезно предоставлен нам ее адвокатом. Благодаря моей дружбе с переводчиком возникла мысль ознакомить с речью российскую общественность. Биргит Хогефельд дала на это свое согласие. Некоторые пояснения, необходимые для понимания текста, даются мною в комментариях.

*Гец Айххофф, Франкфурт, 25 марта 1996 г.*

Моя сегодняшняя речь — попытка проанализировать историю РАФ (1) и наш опыт с целью извлечь необходимые уроки. Власти всеми силами стремятся не допустить подобного анализа — ни сейчас, ни вообще. Что только для этого ни делается: наши статьи и книги не могут издаваться легально, множество людей живет под постоянной угрозой полицейского преследования, корреспонденция политических заключенных подвергается цензуре, вышедшие из заключения члены РАФ не могут посещать своих товарищей, все еще отбывающих срок (случай с Кристианом Кларом). Наконец, Эва Хауле (2) осуждена лишь за то, что участвовала в дискуссии об акциях середины 80-х годов (3). То, что Эва в ходе этой дискуссии употребляла слово «мы», даже по мнению БКА не говорит о ее личном участии в акциях. Тем не менее суд признает ее соучастницей и приговаривает к пожизненному заключению: для такого приговора оказалось достаточно членства в РАФ и того факта, что подсудимая не отказывается от своего прошлого и продолжает обсуждать проблемы РАФ даже сидя в тюрьме. Таким образом, трактовку нашей политической истории 70-х и

80-х годов отдают на откуп прокуратуре. С помощью таких людей, как Боок (4) и «отступники из ГДР» — будущие главные свидетели обвинения, — нашу борьбу за изменение общественных отношений в этой стране пытаются изобразить безосновательной и бессмысленной. И это нетрудно сделать, ведь у нас практически нет возможности заняться анализом собственной истории — нашего опыта и наших ошибок. Поэтому часто нескольких самокритично звучащих фраз каких-нибудь Зильке Майер-Витт или Вернера Лотце (5) или фантастических измышлений Боока достаточно, чтобы вбить искаженное представление о РАФ в головы многих людей — даже левых и прогрессивно мыслящих: еще бы, ведь это говорят те, кто, казалось бы, должны знать РАФ изнутри. Я тоже не считаю все их высказывания неверными, но они не имеют ничего общего с критическим разбором своего жизненного пути. Иначе эти люди не отказывались бы от нашей истории (и от того, что теперь, задним числом, спасая собственную шкуру за счет других, считают ошибочным). И навязываемый образ РАФ, и самокритично звучащие фразы, и показания против бывших товарищей — это цена, назначенная прокуратурой, и они всего лишь исправно платят ее.

Но нам, другим, слова не дают. Всего три недели назад судебная коллегия вынесла очередное постановление, требующее строго изолировать меня от внешнего мира; на позапрошлой неделе в очередной раз была отклонена просьба одной телекомпании об интервью со мной, так что этот процесс — единственное место, где я могу выступить публично. Нам пора самим взяться за анализ нашей истории, однако этого не произойдет до тех пор, пока большинство бывших членов РАФ будет либо смотреть на этот отрезок своей жизни с раздражением и недоумением, либо, наоборот, отвергать любую критику. Обе позиции в равной степени препятствуют трезвому анализу — я имею в виду не слепое одобрение, а понимание. Я полагаю, что без осознания собственной истории нельзя начать ничего нового — разве только перечеркнув свое прошлое, что, кстати, многие и делают.

Сегодня я понимаю, что мы сделали много ошибок, но тем не менее продолжаю верить в обоснованность и оправданность нашей борьбы за новый мир и в то, что такая борьба должна быть бескомпромиссной. Наш опыт важен для исхода будущих битв: другие не должны повторять наши ошибки только из-за того, что мы о них молчим.

Итак, история РАФ. Я остановлюсь на наиболее важных, с моей точки зрения, моментах. Говоря о РАФ, я использую местоимение «мы»: моя жизнь уже 20 лет тесно связана с этой группой, и я считаю, что несу ответственность за всю ее историю. Некоторое время назад — в связи с делом об убийстве американского солдата Эдварда Пиментала (6) — я уже объявила о своем намерении изложить всю историю РАФ, потому что считаю, что нельзя анализировать отдельные акции вне их взаимосвязи. Во-первых, это было бы просто неправильно, а во-вторых, из такого мимолетного взгляда невозможно извлечь серьезные уроки на будущее. Я уже говорила, что считаю решение об убийстве Пиментала одной из самых ужасных ошибок в истории РАФ. Убить в Германии в 1985 году простого американского солдата, чтобы заполучить его документы, — акция абсолютно несовместимая с революционной моралью и революционными целями. Я считаю неверным и глупым наше тогдашнее отношение к этой акции (мы заявили, что это, так сказать, «политический несчастный случай»), поскольку на самом деле в ней отразилась логика наших установок середины 80-х годов. Как же могло случиться, что люди, поднявшиеся на борьбу за справедливый и гуманный мир, так далеко ушли от своих первоначальных идеалов, как могла РАФ настолько отдалиться от социальной реальности в собственной стране? Эта акция стала той глубокой пропастью, которая отделила нас даже от большинства левых. Не меньшую роль сыграло и неприятие нами любой критики, хотя именно левые радикальные круги предлагали начать дискуссию. К тому же у многих тогда возникли ассоциации с событиями 1977 года: убить солдата только ради его документов означает отнестись к человеку чисто функционально, низвести его до положения «объекта». В 1977 году, когда был угнан самолет «Люфтганзы», люди, возвращавшиеся из отпуска на Мальорке, тоже были превращены в «объект». Но в 1977 году после похищения Шляйера власти отказывались освободить заключенных и делали ставку на облавы и аресты, поэтому решение захватить самолет было вынужденным, и, при всем критическом отношении к этой акции, многие левые это понимали.

В 1985 году подобной необходимости не было, и частные лица и целые группы осудили убийство Пиментала. Однако вместо того чтобы принять критику, РАФ обрушилась на критикующих, обвиняя их в том, что они испугались конфронтации и не хотят видеть всей остроты всемирной схватки между империализмом и освободительными движениями. Подобная тактика защиты от критики была и остается характерной для многих левых групп и организаций. Наш отказ от открытой дискуссии надолго закрыл путь к сближению с другими группами в совместной борьбе — хотя «совместная борьба» всегда была одним из наших главных лозунгов. Но тогда мы не видели в этом никакого противоречия, поскольку искали причины, препятствующие

нашему объединению с другими группами (вне нашего «традиционного политического окружения»), где угодно, но только не в самих себе.

Сегодня я думаю, что ошибки мы начали совершать уже в 70-е. Их причина — все более явный отход от социальной реальности, нежелание видеть гнев, разочарование и страдания многих людей. Поднявшись на революционной волне 68 года, мы вначале напрямую опирались на массовые протесты того времени. Тогда, создавая нашу организацию, мы еще надеялись, что нам удастся объединить партизанскую войну с легальными формами борьбы - агитационной работой среди городского населения и на предприятиях. Однако от этой идеи довольно скоро пришлось отказаться. Отчасти отказ был продиктован практическими соображениями: быстро разросшийся аппарат политической полиции, взявший под наблюдение все левые группы, сделал такую "двуединую" деятельность невозможной. Но были и иные важные причины - дискуссии с другими левыми объединениями становились все более беспредметными и догматическими, сводясь к взаимным упрекам: с одной стороны, в путчизме и милитаризме, с другой - в реформизме, карьеризме и подчинении существующей системе; никто из бывших единомышленников уже не стремился к совместной освободительной борьбе.

Разрыв явно обозначился после первой волны арестов, когда стало ясно, что нет силы, которая могла бы сдерживать очевидное желание властей уничтожить политических заключенных. Заключенные считали, что огромное большинство людей, вместе с которыми они начинали борьбу, их просто предало. Но на самом деле уже тогда РАФ признавала только «безоговорочную солидарность»: тот, кто выступал за улучшение условий содержания заключенных, не должен был выражать сомнений по поводу наших политических взглядов.

Разрыв этот не прошел бесследно. Еще сегодня с обеих сторон порой ощущается озлобленность, обида и взаимная отчужденность. К нашему раннему отходу от социальной реальности необходимо отнестись критически, но важно понять и то, на каком фоне это происходило: ведь постепенно усиливающаяся изоляция возникла не в безвоздушном пространстве, а стала результатом наших действий и той общественной ситуации, с которой нам пришлось столкнуться. Я думаю, что в РАФ во все времена вступали люди, обладающие совершенно определенным мировоззрением и жизненным опытом. Объективно для меня, как и для всех других, были возможны и иные пути, и то, что мы выбрали именно этот, наверняка связано с личными качествами и опытом каждого из нас. Во многом это определялось положением в стране и немецкой историей, в тени которой мы выросли.

С учётом всего этого можно сказать, что идеология РАФ, несмотря на относительную изолированность движения, всегда была выражением нашей реальности и ответом на нее — иначе она не могла бы существовать более 20 лет. Мы действовали не в вакууме, рядом всегда были люди, видевшие связь между своей и нашей борьбой; были и такие, кто обретал себя в нашей борьбе — пусть даже только из чувства протеста против постоянного унижения.

Когда я была ребенком, эта страна — а вместе с ней и моя семья — переживала времена «экономического чуда», опустошавшего душу и сводившего смысл жизни к потреблению материальных благ. Но за этим ощущалось и нечто иное, невысказанное. Фашизм, его преступления и война (мой отец тоже был солдатом вермахта) были запретными темами, и это давило на всех, создавая глухую атмосферу зажатости и молчания. Я уже тогда смутно догадывалась, что в основе этого лежит чудовищная вина, о которой никто не говорит вслух.

В одном письме друзьям я писала о своих детских переживаниях, которые, думаю, характерны для множества людей моего поколения, выросших в Германии. Я уверена, что эти переживания во многом определили мою дальнейшую жизнь.

«Я выросла в деревне, в которой из рода в род жила семья моей матери. Во времена нацистского господства на окраине этой деревни был лагерь, где работали военнопленные; через нашу деревню регулярно проезжали автобусы с физически и психически неполноценными людьми — их везли в Хадамар. В Хадамаре была психиатрическая лечебница. Во времена третьего рейха в ней соорудили газовые камеры — туда отправляли этих несчастных, там все они были уничтожены. Мы, дети, слышали и о лагере, и о газовых камерах, и о печах, в которых сжигали трупы. Но нам никто ничего не говорил, мы знали об этом только из случайно подслушанных разговоров взрослых. Если взрослые замечали наше присутствие, разговоры, которые всегда велись полупрошепотом, тут же прекращались. Мы не знали точно, что именно происходило здесь раньше, мы только пытались составить себе представление об этом по обрывкам фраз типа: «все же знали, что стало с этими людьми в автобусах» или «все же чувствовали этот запах».

Поэтому сегодня трудно понять, почему мы так же, как и другие левые группы, пришли к выводу, что фашизм — это прежде всего система власти, служащая интересам капитала и стоящая над обществом. Ведь именно нам следовало бы знать, что это не совсем так. Фашизм продолжал жить внутри общества, и проявлялся не только в том, что бывшие нацистские судьи по-прежнему заседали в судах и так далее, — ведь и после 1945 года «добродетели» фашизма, его система ценностей и образ мыслей все еще существовали в каждой клеточке, воспроизводились и передавались нам. Незамеченными долго оставались лишь масштабы явления. Уроки, извлеченные нами из истории, стали причиной радикального осуждения фашизма, размежевания с родителями и принятия на себя серьезных моральных обязательств. Это размежевание сыграло немалую роль в формулировке целей нашей борьбы.

Известная нам позиция старшего поколения (нежелание родителей хотя бы задним числом признать ответственность за невмешательство и неучастие — или даже соучастие), по моему мнению, сильно сказалась и на развитии наших представлений о морали. В частности, мы считали своей безусловной обязанностью стоять на стороне слабых и угнетенных и, соответственно, столь же безусловно осуждали угнетателей. Видя мир черно-белым, деля всех на «людей» и «свиней», мы долго не могли разглядеть всей сложности и противоречивости реальной жизни, да и характеров отдельных людей. При подобном видении мира американский солдат, конечно, относится к «свиньям» — ведь Пименталь был бы, по всей вероятности, готов участвовать в войнах и военных преступлениях американской армии в любой части света. Но одно дело солдат, которому жизнь предлагает не так уж много возможностей для выбора, а другое дело — высокий чиновник, принимающий важные решения и потому несущий совершенно иную ответственность. Мы упрекали наших критиков за такой взгляд на вещи, называя его точкой зрения «социальных работников». А сами не замечали и не хотели замечать подобных нюансов.

Но вернемся к связям с историей этой страны. Сообщения и кинохроника из Вьетнама, напалмовые бомбы и химическое оружие, бомбардировки плотин, очевидное желание уничтожить вьетнамский народ заставили многих вспомнить об Освенциме — для немецкой молодежи, не закрывавшей глаза на преступления прошлого, иначе и быть не могло, и многие ощутили необходимость встать на сторону народа Вьетнама.

Постепенно нами все больше овладевали идеи общей освободительной борьбы. Даже я, тогдашняя школьница, сознавала обязанность бороться против угнетения народов и пронесла это чувство через всю мою жизнь. Фотография сожженного напалмом голого малыша, в тысячах экземпляров обошедшая тогда весь мир, стала для меня призывом к активному действию. Почти всегда, оказываясь в тяжелой ситуации, я вспоминала эту фотографию, и она помогала мне в принятии многих важных и трудных решений. Я вспоминаю, как включилась в политику. Вначале я бралась за самые разные дела и входила в самые разные движения: работала в центре социальной помощи, который занимался преимущественно турецкими подростками, агитировала за создание самоуправляемых молодежных центров, выступала за большую самостоятельность школ, принимала участие в борьбе за снижение цен на транспорт и, наконец, в демонстрациях против войны во Вьетнаме и палаческого режима в Испании.

Характер моей многосторонней активности резко изменился после убийства Хольгера Майнса (7). Голодовка протеста заключенных, которая закончилась его смертью, побудила меня задуматься о пытках одиночеством в «мертвых коридорах» (8), о систематическом уничтожении политических заключенных. Это событие стало одним из поворотных пунктов в моей жизни.

У многих из тех, кто видел фотографию мертвого Хольгера Майнса, она навсегда останется в памяти — отчасти потому, что этот крайне истощенный человек очень напоминал концлагерников, узников Освенцима. Я не стану проводить параллели между убийством политических заключенных и преступлениями нацистов в Освенциме, но фотография вызывала именно такие ассоциации, и наверняка не только у меня. Передо мной встал вопрос: останется ли мое критическое отношение к большинству людей старшего поколения (за их бездействие во времена национал-социализма) пустой болтовней и я буду так же трусливо наблюдать за подобными преступлениями или я действительно стану активно против них бороться? Мое решение было однозначным.

В детстве мне хотелось стать музыкантом или органным мастером, но незадолго до выпускных экзаменов я — не без внутренней борьбы — приняла решение поступить на юридический факультет, чтобы иметь возможность улучшить положение политических заключенных и попытаться предотвратить дальнейшие убийства. Этим тогда занимались такие адвокаты, как Круассан, Шили (10) и другие, и именно такой я представляла себе свою адвокатскую карьеру.

Вскоре я стала активно участвовать в работе «Красной помощи» — группы, аналогичной Комитетам против пыток (9). Я начала посещать заключенных и ходить на судебные процессы (штамхаймерский и стокгольмский (10)). В то время отчетливо чувствовалось, как день ото дня ситуация обостряется. Потом произошло убийство Ульрики Майнхоф. До сих пор у меня перед глазами стоят фотографии заключенных, участвовавших в голодовке: исхудавших, изможденных, с остекленевшими глазами. Я вспоминаю, как после одного свидания с Карл-Хайнцем Дельво (11) я забыла, о чем мы с ним говорили, — все вытеснила мысль о том, что он вот-вот умрёт.

В тот период наша политическая группа сосредоточила внимание исключительно на помощи заключенным, но не только из-за условий их тюремного содержания. Большинству импонировала, в первую очередь, их радикальность и полное неприятие правящего режима. Я разделяла эти чувства; мало того, подобно многим своим ровесникам я больше не могла жить в этой стране. Выбраться из царившей в обществе атмосферы затхлости и тесноты было некуда. Реакция окружающих даже на самые слабые попытки что-то изменить своими силами ясно показала, что позиция властей и большей части общества не оставляет места иному образу жизни, иным идеям.

Мы отчетливо почувствовали это противостояние, когда еще 15-16-летними школьниками участвовали в демонстрациях (неважно, за школьное самоуправление или против войны во Вьетнаме). В лучшем случае прохожие кричали нам: «Если вам здесь не нравится — убирайтесь в ГДР!» Но нередко мы слышали и другое: «Таких, как вы, при Гитлере мигом отправили бы в печь!» И это были вовсе не отдельные голоса: вокруг таких людей почти всегда собиралось множество их сторонников, и реплики противоположного свойства встречались как исключение. Для молодежи, радикально отвергающей жизнь, предписанную и навязанную ей другими, и ищущей новых ориентиров, желающей жить в обществе, в центре которого — человек и его нужды, а не деньги, потребление, карьера и конкуренция, — для такой молодежи места в стране не было.

Фашизм жил, и не заметить этого было нельзя: с одной стороны, бывшие нацистские бонзы, занимающие важное положение во всех областях государственной и общественной жизни, с другой — тоже вполне конкретные проявления: запрет КПГ; опять кровавые разгоны демонстрантов (уже в 50-х годах!); позднее — чрезвычайные законы (12), затем убийство Бенно Онезорга (13) — вот только основные вехи. Все это существовало, заметим, задолго до того, как раздались первые выстрелы вооруженных революционных групп. Окружающая реальность довольно скоро подтвердила мои догадки о существовании «институционального фашизма», аппарата, создавшего для себя целый арсенал средств подавления и готового пустить его в ход при малейших признаках сопротивления: наиболее остро это выразилось в убийстве заключенных, а с 1974 года машина заработала в полную силу, в том числе и непосредственно против меня. Тот, кто в середине 70-х годов солидаризировался с сидящими в тюрьмах членами РАФ и поддерживал с ними контакты, мгновенно оказывался под наблюдением политической полиции. Я уже не помню, сколько мне довелось пережить обысков, сколько раз, держа нас под дулами автоматов, полиция проверяла наши машины, сколько раз за нами следили — пожалуй, легче пересчитать дни, когда этого не происходило.

Репрессии и запугивание середины 70-х не прошли для нас бесследно. Наши взгляды стали меняться: на первый план в отношениях с государством начало выдвигаться сопротивление. Круг наших интересов значительно сузился — меня интересовало лишь очень немногое из происходящего в стране и в мире. В газетах я выискивала статьи о стратегических планах и маневрах НАТО; когда писали о расправах полиции с демонстрантами, я больше обращала внимание на жестокость полиции, чем на лозунги демонстрантов (о тогдашних движениях протеста и их проблемах я знала очень мало). Восприятие мира — мое и моих единомышленников — стало искаженным, свелось к одной чёрно-белой схеме.

Тогда мы считали свою борьбу за улучшение условий содержания политических заключенных недостаточной: нас мучило, что мы ограничиваемся полумерами. Ведь согласно нашему пониманию политики нам следовало бы начать вооруженную борьбу, но субъективно мы к этому были еще не готовы. Практически мы по-прежнему занимались, в основном, улучшением условий содержания заключенных, но одновременно становились своего рода политическим рупором РАФ — что было плохо как для нас самих, так и для РАФ. Во-первых, эта деятельность не выходила за рамки распространения прокламаций и поисков сочувствующих. Во-вторых, мы не предпринимали серьезных попыток разобраться в политике вооруженной борьбы, ее целях и возможностях, хотя преступления империалистической системы считались не подлежащими никакому сомнению.

Мы непримиримо и злобно выступали против всех других левых, против прежних друзей, с которыми нас связывала общая работа и общий опыт и которые позже выбрали другие политические пути. Мы упрекали их в том, что они не хотят видеть всей остроты общего развития ситуации, и такие упреки не оставляли места критическим дискуссиям.

Это приводило ко все более частым разрывам и расколам в наших рядах и к изоляции. Мы все больше превращались в некоего рода субкультуру, представленную относительно небольшой группой людей, разбросанных по всей территории ФРГ. К этой группе принадлежали многие из тех, кто вступили в РАФ в 1977 году или позже, вскоре вышли из нее и обосновались в ГДР, а впоследствии, после ареста, пытаясь спасти свою шкуру за счет других, согласились служить федеральной прокуратуре в качестве главных свидетелей обвинения против бывших соратников. Мы много думали о них: конечно, почти 10 лет, проведенные в тамошней «социалистической действительности», не очень-то помогли им настолько утвердиться в своих убеждениях, чтобы противостоять нажиму федеральной прокуратуры, но вряд ли только этим можно объяснить массовую готовность выступить на стороне обвинения. Было ли у них в прошлом что-то, что могло бы в этой трудной ситуации придать им силы?

Вряд ли они могли опираться на опыт середины 70-х годов, когда мы порой работали вместе, потому что в то время мы как раз запутались в описанных мной противоречиях. Те, кто впоследствии стали свидетелями обвинения, а в 1977 году еще жили легально, принадлежали тогда — и мне это кажется вполне логичным — к наиболее рьяным противникам любой критики событий 1977 года: эскалации наших действий и, наконец, угона самолета. Они признавали лишь безоговорочное одобрение и даже давних друзей, которые пытались критически разобраться в происходящем, клеймили как политических предателей.

Если не допускать никаких внутренних разногласий, не говоря уже о протестах, то вполне можно (хотя и не обязательно) помешать тому, чтобы люди мужали и набирались сил. Я не хочу оправдывать этим предательство наших бывших соратников, но думаю, что такое «домашнее воспитание» тоже сыграло свою роль.

Вернусь еще раз к тезису об «институциональном фашизме» и к тому, какие выводы мы из данного тезиса делали. В наших документах говорилось: «Атаки небольших вооруженных групп должны заставить аппарат обратиться к сверхжестким мерам и, таким образом, обнажить свой фашистский оскал». Эта мысль была подсказана многочисленными историческими примерами, когда превращение режима в откровенно фашистский происходило столь быстро, что прогрессивные силы не успевали к этому подготовиться. Так, военный путч в Чили подтолкнул нас в сторону нелегальной работы. Проблема Чили занимала тогда многих левых, о чем я недавно прочла в статье одного товарища из «Движения 2 июня» (14). С другой стороны, этот пример подкреплял тезис о том, что надо своевременно заставить государство показать свое истинное лицо: пусть все увидят, что скрывается под маской демократии. И действительно, благодаря нашей борьбе многое выплыло на поверхность: и убийства заключенных, и чрезвычайные законы, и «расстрельные облавы» (15), и призывы ведущих политиков в 1977 году — в ответ на похищение Шляйера — публично казнить заключенных. Однако все это ни в коей мере не способствовало достижению нашей политической цели — развитию широкого сопротивления. Напротив, объявление чрезвычайного положения и открытое провозглашение полицейского государства (16) скорее вызвало у части левого движения чувство беспомощности, чем пробудило волю к сопротивлению. Теперь я понимаю, что это было вполне объяснимо.

Вся проблема уже тогда свелась к противостоянию между РАФ и государством, а все общество, да и подавляющее большинство левых выступали в роли зрителей. Жесткая реакция властей была нацелена именно на нас, на наше политическое окружение и на заключенных, и даже тогда, когда (как во время «немецкой осени») эта реакция ощущалась по всей стране, практически все взваливали ответственность за постоянные проверки, наблюдения и т.д. не на государство, а на РАФ.

Таким образом, даже если заставить власти показать, что скрывается за фасадом правового государства, это вовсе не приводит автоматически к возникновению сопротивления. Так, даже левые, которым после убийств заключенных в Штамхайме следовало бы изменить своё отношение к этому государству, предпочитали сомневаться в версии об убийстве, лишь бы не делать соответствующих выводов. Впрочем, то же было и при национал-социализме.

Переворот происходит только тогда, когда есть много людей, чувствующих и понимающих, что необходимы коренные изменения общества, готовых бороться за эти изменения и организующих эту борьбу. Простое перенесение теории партизанской войны из Латинской Америки на здешнюю реальность было ошибкой:

общественная ситуация здесь отнюдь не похожа на латиноамериканскую и воспринимается совсем по-другому. В Германии не меньше нищеты и страданий, но все же они существенно отличаются от явной нищеты, вызванной войной, голодом, жестокой эксплуатацией и разорением людей и целых стран в Азии, Африке и Латинской Америке. У нас можно говорить скорее не о материальной, а о социально-психологической нищете. Здесь люди в гораздо большей степени страдают от однообразия форм общественной жизни, от потери смысла существования и от одиночества (замечу, что речь идет о коренных немцах). Поверить в существование такого типа нищеты нелегко, и ее истинные причины непонятны. Многие усматривают их в личных судьбах, слабостях и в отсутствии способностей; к тому же погоня за материальными благами, повальное увлечение самыми разными наркотиками и т.д. еще более заслоняют истинную картину.

Тот факт, что мы на протяжении многих лет все дальше отходили от реальных проблем общества, можно объяснить — хотя и не оправдать — только тем, что мы считали свою деятельность частью исторического процесса: наше движение с самого начала было связано с той освободительной борьбой, которую вели угнетенные народы в Азии, Африке и Латинской Америке. Мы с ними были, так сказать, «естественными союзниками», потому что — учитывая транснациональный характер господства мирового капитала — имели общего врага. Лозунги типа «Империализм — смертельный враг человечества» в 70-х и начале 80-х были близки борцам за свободу и здесь, и там. Да и цели нашей освободительной борьбы, и наши идеалы во многом совпадали.

Всем было ясно, что войну против народов «третьего мира» затеяли империалистические государства, руководимые США. К ФРГ это относилось в двойной мере. Здесь стояли компьютеры, управлявшие бомбардировками Вьетнама, здесь располагались тыловые базы многих других войн. Вьетнам, Ливан, бомбардировка ливийских городов или война против иракского народа в 1992 году — вот лишь некоторые из них. В 70-х годах, учитывая такое деление мира и реальное соотношение сил, многие и здесь, и во всем мире находили вполне обоснованную модель «мировая деревня против мирового города», т.е. охват метрополий кольцом освободительных войн в «третьем мире». И было очевидно, что в эту борьбу неизбежно втянутся и революционные силы в самых богатых странах, потому что именно здесь были сконцентрированы власть и средства, отсюда исходила главная опасность.

Для тех, у кого были открыты глаза, тогда все было совершенно ясно, как, например, сегодня ясно, что война против курдского народа ведется в значительной мере Германией. Отсюда частично идет вооружение, отсюда высылают людей на пытки и смерть в Турцию, и курдские деревни по-прежнему безнаказанно обстреливают из немецкого оружия. Эта интернациональная связь сегодня не менее реальна, чем в 70-80-х годах, и акцент на интернационализм для нас сегодня столь же важен, как и тогда, особенно с учетом роли, которую Германия играет в «новом мировом порядке»: участие бундесвера в операциях на территории бывшей Югославии — это только начало.

Именно в этом интернациональном аспекте рассматривали мы нашу задачу и нашу роль. Вначале мы стремились стать политической силой, вносящей здесь свой вклад в победу освободительных движений, а позже, когда стало ясно, что империалистическая система во всем мире гораздо устойчивее и сильнее, чем думали многие, мы поставили перед собой задачу помешать дальнейшему отступлению революционных сил. Мы всегда считали себя включенными в интернациональный контекст и именно благодаря этому осознали страшную роль временного фактора: колесу истории предстояло повернуться вспять, и народы, борющиеся за свою свободу, обречены были захлебнуться в собственной крови — ведь для осуществления своих планов мирового господства империализм не побоялся бы пустить в ход даже атомное оружие.

Такое стремительное и угрожающее развитие событий привело многих из нас к фатально неверным выводам. Осознавая необходимость появления здесь политической силы, призванной вмешаться в ход событий и помешать дальнейшему ухудшению ситуации, мы сделали ставку на эскалацию вооруженной борьбы: мы считали, что для организационной работы сейчас не время, ибо положение вещей требует немедленных активных действий.

И хотя мы все больше сосредоточивали внимание на жизни народов «третьего мира», позволителен вопрос: каково же было наше отношение к здешнему обществу, к людям в этой стране? Ответ таков: оно было исключительно амбивалентным — и для этого в начальный период нашей активности имелись достаточно веские причины. В 68-м мы поднялись на борьбу за справедливый и гуманный мир, а наши родители почти сплошь были нацистскими преступниками или их пособниками, и огромное большинство взрослого населения этой страны в то время было так или иначе связано со своей историей и всю свою жизнь пыталось



свалить с себя ответственность за нее. Сама мысль, что эти люди могут стать нашими союзниками, показалась бы всем нам тогда абсурдной: в этом отношении исходные условия были иными, чем у левых в других странах. Именно на этом фоне модель революции, в соответствии с которой борьбу за коренные изменения в нашем обществе могло вести лишь меньшинство, казалась нам реальной и исторически оправданной — ведь поколение наших родителей было виновно в приходе фашизма, и все мечты о новой жизни, о новом общественном порядке можно было реализовать только на пути, оставляющем это поколение на правой обочине.

Тогда мы не задумывались глубоко над всеми последствиями реализации такой модели революции, когда коренных изменений в обществе добивается меньшинство и оно же определяет новый общественный порядок. Конечно, сейчас уже очевидно, что такая модель совершенно нереальна, но даже если бы совместная освободительная борьба против империалистического господства во всем мире и в самом деле привела к изменению соотношения сил, способному взорвать существующую систему, то для большинства это были бы общественные изменения, пришедшие опять-таки «извне», навязанные кем-то «сверху». Сегодня уже ясно из опыта, что все попытки насильно повернуть общество на путь свободы — пусть они предпринимались революционерами даже из самых прекрасных побуждений — всегда приводили к противоположным результатам. Общество, в котором люди сами свободно и ответственно определяют свою жизнь и все социальное развитие, может быть создано, только если цели и методы борьбы за такое общество постоянно соотносятся с мнением большинства об основных ценностях, определяющих условия человеческого существования. Надо постоянно помнить об этом.

Наше отношение к людям в этой стране долгое время определялось еще и тем, что мы, живущие в богатых странах, строим свое благополучие на нищете и страданиях «третьего мира»: ради нашего благосостояния бесчисленное множество людей умирает от голода или от вполне излечимых болезней, даже маленькие дети вынуждены работать в условиях жесточайшей эксплуатации, грабежу и разрушению подвергаются целые регионы — и большинству это представляется вполне нормальным. В отличие от повседневной борьбы в странах «третьего мира» (где люди выступают за улучшение своих жизненных условий — захватывая, например, сельские участки), к которой мы всегда относились с безграничным одобрением, наше отношение к соответствующим движениям здесь долгое время было двойственным. С одной стороны, мы одобряли борьбу, которая велась по частным поводам (будь то выступления против атомных электростанций или против расширения франкфуртского аэропорта (17) ), а с другой — всегда подозревали, что цель этих выступлений — лишь дальнейшее расширение привилегий метрополий.

Но основой любого политического движения может стать только такая борьба, которая базируется на собственном опыте, именно она порождает (или может породить) сознание, выходящее за рамки отдельного выступления. В любом случае требования, направленные на улучшение или сохранение условий своего существования или предотвращение войн, сами по себе являются легитимными. Мы же долгое время не принимали таких движений всерьез, а лишь выискивали тех немногочисленных их участников, которые хотели бы перейти от выступлений "по конкретному поводу" к "общей борьбе", направленной на уничтожение существующей системы. И если мы сходились с такими людьми, то они всегда расставались с теми движениями, из которых вышли. Теперь я понимаю, что это было большой политической глупостью, потому что в итоге лишь усиливалась наша изоляция, а в 80-х годах - изоляция "Фронта" /18/. Вся концепция "Фронта", который с начала 80-х годов должен был объединить самые разнообразные группы под лозунгом "совместной борьбы", оказалась в конечном счете гораздо более узкой и сектантской, чем мы это тогда себе представляли. Никакого многообразия не было, да и быть не могло, так как в основу политических целей "Фронта" был положен центральный лозунг РАФ: "Стратегия против стратегии империализма", то есть основная ставка делалась опять-таки на отрицание. В то время бывало и так, что участники различных движений, вступая во "Фронт", пытались привнести в него некоторые конкретные идеи, почерпнутые из своего опыта и своей истории. Но мы не допускали этого, используя аргументы, зачеркивавшие всякую возможность диалога. Я помню, например, дискуссии, участники которых, отрицая это "отрицание", не соглашались с нашими глобальными целями типа "расколоть НАТО" или "расшатать империалистическую систему". Некоторые считали, что нам следовало бы скоординировать усилия и всем вместе вмешаться в события в Никарагуа (стране тогда угрожала военная интервенция), чтобы оказать совместное политическое давление на планы интервентов: так они понимали конкретный интернационализм.

Сегодня мне ясно, что подобные действия были бы разумными и гораздо более эффективными — хотя бы потому, что наши инициативы объединились бы с инициативами самых разнообразных групп и движений, - но такие предложения всегда встречали наше сопротивление. Тогда мы считали, что политика РАФ должна

быть направлена против империалистических государств как политического целого - то есть наши цели становились все более абстрактными.

Все глубже погружаясь в эти абстракции, мы все дальше отходили от самих себя, от своих корней, от реальных проблем, близких большинству простых людей. Мы жили в нелегальных условиях, и постоянная эскалация борьбы и подстерегающие нас опасности делали нашу жизнь больше похожей на жизнь в странах "третьего мира". Находясь в подполье, человек вынужден ежедневно считаться с возможностью ареста или гибели. Тем, кто живет такой жизнью, проблемы, волнующие окружающих, кажутся неважными и второстепенными: народы "третьего мира" казались нам ближе, чем здешнее общество.

Сегодня я думаю, что наша политика в 1978-1992 годах была оторвана от развития событий в стране и от конкретных политических выступлений не только из-за абстрактности наших устремлений, но и из-за нашей ставки на усиление конфронтации. Мы стояли в стороне от выступлений и борьбы левых, и, хотя мы считали, что враг у нас один, никакого взаимодействия между нами не было.

Говоря о ставке на эскалацию политических акций, я хочу привести отрывок из одного текста августа 1992 года, в котором мы пытались описать картину событий начала и середины 80-х годов: «Это было время самых разных выступлений: антинатовское движение; голодовка политических заключенных в 81-м, в которой был убит Сигурд Дебус (19) ; выступления против атомных электростанций и против строительства новых взлетно-посадочных полос во франкфуртском аэропорту; захват домов и, конечно, мобилизация масс на выступления против размещения ракет средней дальности. Мы сами принимали участие в некоторых из этих выступлений и, как и все остальные, пришли к выводу, что существующей власти нам не побороть.

Тогда в этих выступлениях участвовали сотни тысяч людей, выражавших мнение миллионов, но ни одно из их требований не нашло отклика у властей. Понятно поэтому, что борьба становилась все более радикальной и ожесточенной. В те годы многие предлагали начать решительные действия против главных центров политики уничтожения — тогда атаки были направлены, в основном, против военной стратегии США и НАТО. Это должно было придать нашим выступлениям новую остроту и эффективность. День ото дня становилось всё очевиднее, что государство просто не хочет замечать протеста сотен тысяч и в то же время все более жестоко расправляется с людьми, выходящими со своими требованиями на улицы. То, что в эти годы среди наших товарищей было не так много убитых и раненых, — чистая случайность. Зверское обращение с заключенными во время голодовки 1981 года, применение полицией и охранниками дубинок и газа ясно показали, что государство хотело, чтобы с нашей стороны было побольше трупов. Фраза Коля по поводу размещения ракет средней дальности («они демонстрируют, мы правим») однозначно выразила отношение властей к тем, кто думал по-другому».

Этот отрывок хорошо передает настроения того времени: с одной стороны, активные выступления по разным поводам и требования, которые выдвигались не отдельными маленькими группами, а огромными массами людей (как это было, например, по поводу размещения ракет), а с другой — постоянное ощущение того, что мы не пробьемся. Наша борьба в силу своей внутренней логики становилась все более радикальной, и я считаю очень важным понять: что это за логика, в чем она была верной и в чем ложной? В ситуациях, когда выясняется, что политического нажима недостаточно для достижения поставленных целей, следует подумать, как этот нажим усилить. Однако в тот момент, когда ответом на чувство безнадежности и бессилия автоматически становится эскалация насилия, логика становится ложной. Я думаю, в этом состояла одна из наших главных ошибок начиная, по крайней мере, с конца 70-х годов — ведь основные цели и действия «Фронта» были в значительной мере продолжением нашей предыдущей политики, только, так сказать, на более широкой основе: объединение и координация воинствующих и вооруженных групп, которые так же скоро оказались в изоляции даже внутри левого движения, как до этого и мы сами. Именно этому учит нас наша история и история «Фронта»: воинственность и эскалация вооруженных акций сами по себе никогда не смогут заменить организационной работы, направленной на укрепление политической силы и расширение сферы ее действий. Они могут быть лишь подспорьем в политической борьбе, повышающим ее эффективность. Именно такие акции, как нападение на базу ВВС во Франкфурте в 1985 году, убийство Пименталья или события в Рамштайне в 1982 году (20) , с очевидностью показали, что такая логика в ответ на обострение военной опасности во всем мире — тогда это была угроза атомного конфликта — может сдвинуть все в направлении войны. Мое мнение об убийстве американского солдата, приведенное в начале этой речи, многими было тогда встречено с раздражением. В левых кругах меня упрекали в «деполитизации» и «морализаторстве» — вплоть до того, что такие выступления играют на руку нашим врагам.

Упреки в «деполитизации» и «игре на руку врагам» меня не интересуют — это излюбленный вид «критики»,

к которому товарищи в наших кругах очень часто прибегают, если у них нет других аргументов или если они вообще не хотят спорить по существу. Но на упреке в «морализаторстве» я хотела бы остановиться поподробнее. Часто такие упреки сопровождаются высказываниями типа «войну не ведут в белых перчатках», с этим, дескать, надо смириться, и вопрос о революционной морали вообще ставить нельзя. Конечно, не существует единых моральных критериев, пригодных для каждой конкретной ситуации, как верно и то, что война есть война и она всегда бесчеловечна. Но это не должно освобождать революционные группы от обязанности четко определить собственные критерии. Например, то, что многими считалось оправданным в странах, оккупированных вермахтом во время фашистского господства, и то, что считается законным в ФРГ в 1995 году, — вовсе не одно и то же. Но сегодня снова встает вопрос: какие средства допустимы и оправданы в каждой конкретной ситуации?

Мы в своих рассуждениях исходили из идеи разрыва — не только с системой, но и с обществом. Еще в середине 80-х годов в одном из документов «Фронта» говорилось: «Мы принадлежим этому обществу лишь постольку, поскольку мы боремся с ним» — вот причина того, что мы перестали видеть внутри общества и даже внутри левого движения какую бы то ни было «моральную инстанцию». Такая инстанция для нас самих становилась все более фиктивной, ибо мы признавали только нечто абстрактное, а именно народы «третьего мира». Мы сознательно уклонялись от необходимости оправдывать свои действия перед нашими соотечественниками и даже перед левыми, и поэтому не было никаких дискуссий, в ходе которых мы могли бы скорректировать нашу практику и привести ее в соответствие с реальным процессом общественного развития.

Именно такая наша позиция давала о себе знать всякий раз, когда мы подвергались резкой критике, как это было, например, после убийства американского солдата. Но в отношении нашей невосприимчивости к любой критике, исходившей тогда от всего левого спектра, необходимо сказать и другое. Хотя и задним числом, но мы все-таки почувствовали, что эта критика небеспочвенна, что, совершив эту акцию, мы преступили все границы: наша революционная политика изменилась до неузнаваемости и потеряла все точки соприкосновения с окружающим обществом. Каждый из нас испытал ощущение отчуждения от собственной истории, от своего пути, от своей политической самоидентификации — но все это проявилось лишь позже и в довольно расплывчатой форме.

В ответ на критику мы тогда могли выдвинуть лишь привычные абстрактные аргументы: дескать, этот солдат мог бы с таким же успехом служить на базе ВВС, обеспечивая ее боеспособность в ходе войны, которую США и НАТО вели тогда против народов Ближнего Востока, или что этот Пименталь в конце концов сам решил зарабатывать свои деньги солдатским ремеслом. Подобные рассуждения совершенно не принимали в расчет судьбу отдельного человека, и мы в глубине души чувствовали это, но вместо того, чтобы разобраться в возникших вопросах и противоречиях, мы просто «замели их под ковер». В результате нами было опубликовано глупейшее заявление о том, что, признавая это убийство политической ошибкой, мы тем не менее рассматриваем его как предостережение для тех, кто закрывает глаза на окружающую реальность и лишь ищет для себя удобную нишу в этой системе. Сегодня я думаю, что в то время все в РАФ и его ближайшем окружении почувствовали: решение подвергнуться открытой критике за убийство американского солдата неминуемо вызвало бы целую лавину вопросов, выходящих далеко за рамки этой конкретной акции. Это тоже было одной из причин отказа от участия в дискуссии, ибо в ее ходе стало бы очевидным, что совершенное убийство ни в коей мере нельзя рассматривать как «политический несчастный случай» или ошибку.

Сегодня, по прошествии времени, я думаю, что мы раз за разом упускали возможность принципиально изменить свою ориентацию и перейти к политике, отправной точкой которой стали бы реальные процессы общественного развития в нашей стране, а целью — организация освободительного движения и борьбы за фундаментальное изменение общественной системы. Но наши узость и догматизм вечно препятствовали самокритичному анализу; мы сумели покончить с этим лишь в начале 90-х годов. Однако и сейчас среди нас еще есть товарищи, которые болезненно реагируют на любые попытки критического подхода к нашей истории: тех, кто не одобряет безоговорочно всех наших прошлых действий, кто пытается говорить об ошибках, они обвиняют во всех мыслимых грехах и стараются держаться от них подальше. Такая позиция приведет к тому, что мы — хотя и непреднамеренно — отдадим написание истории РАФ в руки федеральной прокуратуры и ее пособников — от Боока до «отступников из ГДР». И тогда всё действительно может случиться именно так, как того хочет реакционная официальная историография; раз мы сами не в состоянии извлечь необходимые уроки из нашего опыта и наших ошибок, многое в нашей борьбе потеряет всякий смысл. И мы — я имею в виду не только РАФ — ничего не сможем с этим поделать, если сами по-прежнему

будем уклоняться от постижения собственной истории. Для определения целей будущей борьбы мы нуждаемся не только в детальном анализе нынешней ситуации и нынешнего этапа общественного развития — нам не обойтись без опыта и знаний, накопленных за прошедшие четверть века.

Франкфурт, 21 июля 1995 г.

### *Комментарии.*

(1) РАФ (Роте Армее фракцион — Фракция Красной Армии) — так называла себя одна из групп, возникших в 1970 г. после распада леворадикального крыла бунтарского студенческого движения 1968 г. РАФ вела подпольную борьбу, добывая средства на собственное финансирование грабежом банков. О РАФ всерьез заговорили в 1971 г. после совершенных ею взрывов издательства в Гамбурге и административного здания американской армии во Франкфурте. То, что во время проводимых ею акций гибли люди, РАФ не останавливало. Основатели РАФ (так называемая «банда Баадера-Майнхоф») были арестованы в 1972 г. Но и находясь в заключении, эти люди с помощью передаваемых на волю писем или через посещавших их друзей и адвокатов требовали от своих единомышленников продолжения антиимпериалистической борьбы по образцу латиноамериканской «городской герильи». Поэтому власти, чтобы пресечь общение заключенных с «волей», прибегли к специальным мерам их содержания. Это вызвало упреки в «пытках одиночеством». В 1974 г., требуя смягчения режима, заключенные объявили голодовку, прерванную только после смерти одного из их товарищей, Хольгера Майнса. В 1976 г. Ульрика Майнхоф была найдена висящей в петле в своей камере. В кругах, симпатизировавших РАФ, ее смерть, так же как и смерть Хольгера Майнса, воспринималась как результат особо ужасных условий содержания заключенных и, следовательно, однозначно считалась убийством. Ответными акциями РАФ явились убийства в 1977 г. Генерального прокурора ФРГ и председателя правления «Дрезднер банк». В сентябре 1977 г. был похищен и убит президент Союза работодателей Ханс-Мартин Шляйер. Между 1979 и 1982 гг. акции РАФ были направлены, в основном, на представителей военной администрации: в Бельгии было совершено покушение на Главнокомандующего вооруженными силами НАТО американского генерала Хейга, там же подверглась обстрелу машина американского генерала Крозена, в Рамштайне был совершен налет на базу американских ВВС. В 1985 г. произошли нападения на базу американских ВВС во Франкфурте-на-Майне, на офицерскую академию бундесвера в Обераммергау, покушения на ведущих деятелей военно-промышленных предприятий, высокопоставленных чиновников министерства иностранных дел и министерства финансов. Особенный резонанс в обществе вызвало убийство в 1988 г. в Бад-Гомбурге Альфреда Херрхаузена, председателя правления «Дойче банк». В 1991 г. был убит еще один крупный чиновник — Карстен Роведдер. В 1992 г. находящиеся в подполье члены РАФ заявили о «прекращении эскалации» своих действий. Однако в марте 1993 г. членами РАФ было взорвано только что построенное здание тюрьмы в Вайтерштадте — ущерб исчислялся сотнями миллионов марок. В настоящее время РАФ, очевидно, уже не является единой организацией; отдельные акции последних лет проводились уже не от ее имени.

(2) Фотография Эвы Хауле появилась на розыскных плакатах в 80-х гг. После ареста она признала свою принадлежность к РАФ. Прокуратура не смогла представить суду достаточных доказательств ее участия в акциях; тем не менее, основываясь лишь на факте принадлежности к РАФ, ее признали виновной в соучастии и приговорили к пожизненному заключению.

(3) Биргит Хогefeld сознательно умалчивает о том, какие именно акции имеются в виду. Дело в том, что при расследовании налетов и покушений, совершенных РАФ в те годы, ни разу не удавалось найти улики, достаточные для обвинения того или иного из подозреваемых.

(4) Петер-Юрген Боок — один из участников похищения Шляйера. Приговорен к пожизненному заключению. Находясь в тюрьме, опубликовал свои воспоминания о РАФ, в которых дистанцировался от своих бывших товарищей, изображая себя беззащитной жертвой интеллектуального террора. По его словам, любые разногласия в РАФ беспощадно подавлялись руководителями. С помощью леволиберальной прессы ему почти удалось добиться помилования от бывшего Федерального президента фон Вайцзеккера, однако «отступники из ГДР» своими показаниями изобличили Боока и поставили под сомнение достоверность его рассказов.

(5) Зильке Майер-Витт, Вернер Лотце — активные участники акций РАФ в 70-е годы. В настоящее время отбывают заключение.

(6) Эдвард Пименталь — американский солдат. Его подстерегли, когда он зашел в одну из висбаденских

дискотек, выманили на улицу и убили, чтобы завладеть его документами, которые должны были обеспечить нападавшим доступ на американскую базу. Убийство Пименталья было совершенно нетипично для РАФ: создавалось впечатление, что оно произошло непреднамеренно, что просто у кого-то из нападавших не выдержали нервы, но РАФ не желала в этом признаться, опасаясь нарушить единство своих членов.

(7) «Мертвые коридоры» — одна из мер специального режима для заключенных членов РАФ: их содержали не просто в одиночках — все соседние камеры или даже все камеры в коридоре были пустыми. Узники «мертвых коридоров» по нескольку дней или даже недель не могли видеть никого, кроме охранников.

(8) Клаус Круассан, Отто Шили — адвокаты, получившие широкую известность благодаря выступлениям в качестве защитников на процессах членов РАФ. Круассан впоследствии несколько раз подвергался аресту за активную поддержку РАФ. Шили, напротив, позже стал членом бундестага от Партии зеленых, а в настоящее время он является одним из активных членов социал-демократической фракции в бундестаге.

(9) Комитеты против пыток — речь идет о группах, возникших во многих городах Западной Германии после 1973 г. в знак протеста против условий содержания заключенных членов РАФ. Участниками этих групп были, в основном, старшеклассники и студенты.

(10) Штамхаймский процесс — закончившийся в 1974 г. судебный процесс против основателей РАФ («банды Баадера-Майнхоф»). Судебные заседания проходили в специально построенном для этой цели отдельном здании тюрьмы Штамхайм в Штутгарте. Стокгольмский процесс (1976 г., Дюссельдорф) — суд над участниками нападения на посольство ФРГ в Стокгольме в 1975 г. Нападавшие требовали освобождения своих товарищей по РАФ, сидящих в немецких тюрьмах. Когда выяснилось, что их требования не могут быть выполнены в назначенный срок, среди нападавших началась паника; неожиданно произошел взрыв, в результате которого погибло много людей, включая несколько боевиков.

(11) Карл-Хайнц Дельво — участник нападения на посольство ФРГ в Стокгольме.

(12) Чрезвычайные законы — включенные в 1968 г. в конституцию ФРГ законы на случай вооруженного нападения на территорию ФРГ или непосредственной угрозы такого нападения. Для вступления этих законов в силу необходимо, чтобы факт нападения или его угрозы был признан большинством бундестага (не менее двух третей поданных голосов). Чрезвычайные законы предусматривают ограничение некоторых из основных прав граждан и высокую концентрацию властных полномочий в руках Федерального канцлера. Принятие чрезвычайных законов вызвало в обществе широкую волну протестов (внепарламентская оппозиция). Эти законы, однако, ни разу не были введены в действие.

(13) Бенно Онезорг — студент, погибший 2 июня 1967 г. во время демонстрации протеста против визита шаха Ирана в ФРГ. Он был убит срикошетировавшей пулей во время предупредительной стрельбы полиции.

(14) «Движение 2 июня» — западноберлинская группа, названная в память о погибшем 2 июня 1967 г. студенте Онезорге. В отличие от РАФ «Движение 2 июня» вначале не утруждало себя революционными теориями, следуя, в основном, принципам «свободной анархии», и не признавало претензий РАФ на общее руководство. «Движение 2 июня» начало практиковать похищение людей еще раньше, чем РАФ: в 1975 г. был похищен председатель берлинской организации ХДС Петер Лоренц; в обмен на его освобождение власти вынуждены были выпустить из тюрем нескольких заключенных и разрешить им улететь в Южный Йемен.

(15) «Расстрельные облавы» — во время облав 1977-1980 гг. некоторые члены РАФ были убиты полицией при задержании, хотя их вполне можно было арестовать, не прибегая к оружию. В частности, Вилли-Петер Штолль был застрелен полицейскими в то время, когда он спокойно обедал в ресторане.

(16) Имеется в виду широкая полицейская кампания против так называемых «симпатизирующих РАФ», начатая после похищения Шляйера («немецкая осень»).

(17) Вначале против строительства новой взлетно-посадочной полосы во франкфуртском аэропорту выступали лишь жители близлежащих районов, используя вполне легальные методы. Позже началось массовое движение протеста с участием не только законопослушных граждан. Протестующие блокировали строительные площадки и вступали в прямые конфликты с полицией. Движение способствовало образованию новой парламентской силы — Партии зеленых. В настоящее время многие руководящие посты в

этой партии занимают люди, принадлежавшие в конце 60-х гг. к внепарламентской оппозиции.

(18) «Фронт» — так, по-видимому, называла себя в 80-х гг. группа находящихся в подполье членов РАФ. Не исключено, что понятие «Фронт» включало и легальное окружение РАФ, которое вследствие полицейских преследований было в то время далеко не таким многочисленным, как в середине 70-х гг.

(19) В 1981 г. сидящие в тюрьмах члены РАФ провели голодовку, требуя, чтобы их содержали вместе и дали возможность общаться друг с другом. Прокуратура и тюремные власти вначале отказывались выполнить это требование, а затем поставили вопрос о смягчении режима в зависимости от готовности заключенных объявить о своем раскаянии. Голодовка закончилась лишь со смертью заключенного Сигурда Дебуса. Среди заключенных членов РАФ — а к этому времени основная часть РАФ и состояла, по-видимому, из одних заключенных — были и такие, кто весьма скептически относился к участию в голодовках, но опасались, что «лидеры» лишат их последних возможностей общения с единомышленниками (контакты между заключёнными, сидящими в различных тюрьмах или даже камерах, были невероятно затруднены, но все-таки как-то поддерживались через «лидеров»), столь необходимого им для поддержания духа.

(20) Нападение на базу ВВС во Франкфурте в 1985 г., события в Рамштайне в 1982 г. — совершенные РАФ взрывы находившихся на территории ФРГ военных объектов НАТО и США.

*От редакции.*

Как нам стало известно, осенью 1996 года судебный процесс завершился и Биргит Хогефельд был вынесен приговор: пожизненное заключение. \*



*Birgit Hogefeld*